

Григорий Аронсон

НА ЗАРЕ

ВЧК

КРАСНОГО

БУТЫРКИ

ТЕРРОРА

ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

МЕМОАРЫ АВТОРА,
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ГОРНИЛА СОВЕТСКИХ ТЮРЕМ,
ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕСОМНЕННЫЙ
ИНТЕРЕС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Григорий Аронсон

**На заре красного террора. ВЧК
– Бутырки – Орловский централ**

«Центрполиграф»

1929

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

Аронсон Г. Я.

На заре красного террора. ВЧК – Бутырки – Орловский централ /
Г. Я. Аронсон — «Центрполиграф», 1929

ISBN 978-5-227-10484-7

Автор — бунтарь-революционер, деятель меньшевистской партии. Боролся против монархии и, как следствие, преследовался ею. После Октябрьского переворота также оказался нежелательным элементом. Пройдя с 1918 по 1922 год горнила советских тюрем, одиночную камеру и голодовки, он не только выжил, но и сумел сохранить человеческое достоинство. Опыт пребывания в застенках оказался труден, но не смертелен. После освобождения из заключения и прихода НЭПа, автор, как неудобный новой власти, был выслан за границу, где в 1929 году, в Берлине, впервые вышла эта книга. Его очерки по содержанию своему посвящены не только описанию тюремного быта, но также изображению жизни России на заре красного террора. Если в странах политического бесправия тюрьма всегда — зеркало жизни, то еще резче выступает это явление в революционную эпоху. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47)

ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-227-10484-7

© Аронсон Г. Я., 1929
© Центрполиграф, 1929

Содержание

От автора	6
На заре красного террора. 1918 год	7
Первые впечатления	7
Наше преступление	10
Губчека	13
В тюрьме	15
Наши спутники	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Григорий Аронсон
На заре красного террора. ВЧК
– Бутырки – Орловский централ

МЕМУАРЫ АВТОРА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ГОРНИЛА СОВЕТСКИХ ТЮРЕМ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕСОМНЕННЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

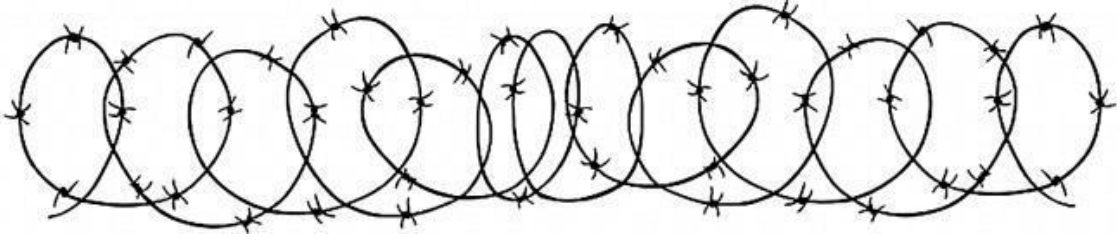


Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2023

© «Центрполиграф», 2023

От автора



Тюремные записи – по форме, предлагаемые вниманию читателя очерки, – по содержанию своему посвящены не только описанию тюрьмы, но также изображению жизни и быта России на заре красного террора. Если в странах политического бесправия тюрьма – всегда зеркало жизни, то еще резче выступает это явление в революционную эпоху. И никогда, кажется, не осуществлялось такого превращения жизни в тюрьму, и никогда тюремная решетка не символизировала в такой степени русскую жизнь, – как в минувшие годы обостренной Гражданской войны. В этом – оправдание появления книги, посвященной эпохе 1918–1921 годов. К тому же, события этих лет далеко еще не отошли в область истории. Красный террор до сих пор отбрасывает свою черную тень на всю русскую жизнь. Наряду с очерками «На заре красного террора», публикуемыми впервые, и тюремными записками «ВЧК – Бутырки – Орловский централ», напечатанными в журнале «На чужой стороне» (1924–1925 гг., Прага). В приложении к книге даны рассказы ВЧК о себе самой, составленные на основании материалов Красной Книги, изданной ВЧК, и тотчас же по выходе конфискованной и изъятой из обращения. В этих материалах документированы некоторые драматические эпизоды эпохи 1918–1919 годов. Разумеется, эти материалы не могут служить источником для изучения эпохи раннего террора, они только иллюстрируют деятельность ВЧК ее собственными признаниями.

На заре красного террора. 1918 год

Первые впечатления

Как сквозь смутный сон, вспоминается переезд через немецкую оккупационную границу. Мелькают блестящие каски, презрительно вежливый, повелительный тон, пропуск через железную решетку и легкий, поверхностный обыск. И родина снова возвращена нам! Какая-то чрезвычайная железнодорожная комиссия. Отряд красногвардейцев специального назначения. Торопливый и грубый осмотр вещей, книг, документов, и большие, неуклюжие дроги, перегруженные вещами, медленно влекутся по грязному месиву, несмотря на жаркое лето заполняющему все пространство, видимое кругом. По сторонам дороги, искривленные соломенные шалаши, вокруг которых на маленьких кострах варят картофель исхудалые, бледные, давно немые люди в отрепьях, и много детей, молчаливо и без всякого любопытства глядящих на наше шествие: это – беженцы. Это картины, которые встречаешь на всех перекрестках русских дорог, да, пожалуй, и на всех европейских перекрестках – картины перепуганного человеческого рода, который под гром и молнии войны бессмысленно мечется из края в край, беспомощно ждет и безропотно умирает. Беженцы – поляки, евреи, латыши, украинцы, их никто не заставлял пускаться в опасный и неопределенный путь. Они добровольно с детьми и скудными пожитками пытались бежать из огня Гражданской войны, туда, где им мерещилась обетованная земля, дни, недели и месяцы сидели и гибли в грязном месиве у пограничной черты в ожидании подвижного состава, теплушек, которые должны же когда-нибудь быть поданы и которые должны вернуть им утраченный кров.

Как сквозь смутный сон, я вспоминаю маленький еврейский городок, грязные улицы, покосившиеся дома, согбенные фигуры с заискивающими лицами, ощупывающие глазами и вас, и ваши вещи и без слов спрашивающие «есть что продать?» или «хотите купить?». Наконец, долгие переговоры с комендантом станции, первым встреченным мною большевистским комиссаром, о билете в Москву, и я уже в поезде. Что представляет собой эта вечная загадка, эта страна неограниченных возможностей? Наладилась ли в ней жизнь после Брестского мира, после демобилизации армии, после разрыва с бунтарями-анархистами? Началась ли полоса устройства? И большевики, властители современной России, за девять месяцев своего господства, не стали ли они другими? Не переделала ли их русская жизнь на свой лад, сметая и сглаживая их строптивость, опьянение и озорство?

В немецкой оккупации, где я провел почти полгода, мы не получали регулярно русских газет, почти свободно выходивших еще тогда в России; по отрывочным сведениям, мы, хотевшие быть объективными, затруднялись рисовать себе русскую жизнь. Немецкая пресса, живо интересовавшаяся Россией, информацией не делилась. В обстановке оккупации, когда тяжелый немецкий сапог кайзеровской армии жестоко наступал на русскую деревню и подавлял в городе самые скудные проявления революционного духа, разгонял земства и городские самоуправления, гнал в подполье социалистические партии и профессиональные союзы, фактически лишая рабочих права на самозащиту, в этой обстановке, естественно, созревала атмосфера сочувствия к большевикам, засевшим в России, там, где еще пылало священное пламя революции.

Ориентация на революцию, ориентация на Россию для всего края, задушенного оккупационным режимом, усиливала в массах и передавала одиночкам большевистские иллюзии. И, каюсь, не без глупых и наивных надежд на «выпрямление линии Октябрьской революции» возвращался я из оккупации в Москву. В Москве этого времени была призрачная и фантастическая жизнь. Еще не оправившись от впечатления похабного мира, который сузил в три раза

зону революции. Остряки говорили, что скоро сфера власти Кремля ограничится кольцевым трамваем, совершающим свой рейс вокруг Кремля. Еще население не оправилось от звуков канонады, которой сопровождалось недавнее освобождение от анархистов захваченных ими домов. Я помню на вокзале, по приезду, то средство успокоения шумной и беспорядочной толпы, которое применил догадливый комиссар: стоя посреди толпы на платформе, он просто выстрелил в воздух. Но наряду с этим кое-где гудели гудки, и дымили фабричные трубы; безбоязненно торговали в лавках и на рынках; с усилиями пролезая сквозь тонкое ушко цензуры, выходили газеты разных партий и направлений.

Меньшевики и Бунд¹ существовали почти легально, но эсерам приходилось уходить в подполье. Я был на Всероссийском съезде еврейских общин, на котором, наряду с немногими социалистами, оказалось много почтенных либеральных фигур, как ни в чем не бывало равно и смиренно делавших свое дело, т.е., невзирая на Чеку, выработывавших планы, проекты, программы, цену которым они сами превосходно знали. Мне не удалось попасть на 6-й съезд Советов, происходивший тогда в Москве. Мандат, привезенный мною из оккупации от профессиональных союзов, если и не мог обеспечить мне совещательный голос, то все же мог дать мне право на гостевой билет. Но секретарь ВЦИКа спросил о моей партийной принадлежности, и в билете отказал. Между тем это были шумные дни восстания левых эсеров, убийство графа Мирбаха. Москва, отдохавшая от недавних кошмаров, опять оказалась во власти чуждых сил, которые стреляли из пулеметов и пушек.

Возвращаясь с заседания, где нас застигло известие о покушении на Мирбаха, я видел мертвые, пустынные улицы, изредка оглашавшиеся диким ревом обезумевшего грузовика, наполненного гвардейцами и матросами, и опять пустынные, мертвые улицы, молчаливые, ушедшие в себя дома, и только Денежный переулок, где дом немецкого посольства, был весь в тревоге, в суете, в движении автомобилей, мотоциклеток и верховых.

А за событиями на съезде Советов, после ареста громадной части съезда, связанной с левыми эсерами, когда еще неясно, не выступит ли Германия в поход – отомстить за убитого посла и не удастся ли таким образом срыв Брестского мира, начались новые события: вспыхнула Ярославское восстание и открылась первая страница чехословацкого движения.

Что сделали большевики? Они первым делом окончательно прекратили русскую прессу. Все газеты, без исключения закрылись, слева направо и справа налево. Началось царство стекловских монополий. Надо сказать, что к этому времени значительно ослабели связи большевиков в рабочей среде. Это было время явного изживания большевистских иллюзий: режим Зиновьева в Петербурге, режим Дзержинского и Петерса в Москве содействовали этому процессу. Впервые со времени демонстраций и забастовок протеста против разгона Учредительного собрания, среди столичных рабочих назрела активность, потребность самостоятельно сказать свое слово.

В Петербурге и Москве, при помощи меньшевиков и эсеров, возрождались институты уполномоченных от рабочих на фабриках и заводах, возобновлялись собрания уполномоченных. В Москве, по инициативе тех же партий с участием отдельных профессиональных союзов (печатников, железнодорожников), возник Организационный комитет по созыву Всероссийской конференции уполномоченных от фабрик и заводов, чтобы оформить движение, перекинувшееся из столиц в провинциальные промышленные центры и формулировать его программу. Я получил телеграмму из Витебска, с которым меня связывали годы общественной работы. Мне надо было туда ехать, чтобы рассказать о жизни в оккупации, чтобы дать отчет о своем участии в том съезде еврейских общин, мандат на который я получил от Витебска. Кстати, в качестве представителя упомянутого Организационного комитета я помог товари-

¹ Бунд – Еврейская социалистическая партия, действовавшая в Восточной Европе с 1890-х и до 1940-х гг. Бунд считал себя единственным представителем интересов достаточно многочисленного на этих землях еврейского рабочего класса.

щам созвать губернское собрание уполномоченных от местных фабрик и заводов. Что произошло в Витебске, как мы там организовывали рабочих при попустительстве большевиков, как мы попали в Чеку и в тюрьму, и что пришлось пережить на заре красного террора и в разгаре его, об этом будет рассказано в следующих главах.

Наше преступление

Время действия – жаркие июльские дни 1918 года. Место действия – губернский город западной окраины с 130-тысячным населением. Что сказать о русской городской провинции первого года социалистической эры? Большевистский суд ликвидировал последних, только что изловленных, провокаторов. Комиссар финансов взыскивал революционный налог, первоначальная сумма которого, путем соответствующей мзды, понижалась на 50 и даже на 95 %. Социальная политика выражалась в том, что домовладельцев (такие еще тогда существовали!) заставляли ремонтировать свои дома, предоставляя, таким образом, работу безработным плотникам, столярам, малярам. Жизнь замирала рано. Военные дозоры по вечерам занимались проверкой документов. В домах производились постоянные обыски, искали денег (больше 1000 рублей никому не разрешалось иметь при себе), драгоценностей, товаров, продовольствия и реквизировали все, что плохо лежало, что попадалось под руку. Это период, когда аппарат Чеки начинал впервые чувствовать под собой твердую почву, когда он, под видом «комбедов» уже готовился дать бой «кулакам» в русской деревне и уже обрастал своей опричниной, специфическими отрядами особого назначения, в городе. В Витебске для Чеки было много работы: то мобилизация буржуев, схваченных по домам и на улицах на принудительные тяжелые работы (от которых буржуи откупались взятками), то пополнение тюрем и арестных домов буржуями, которые еще не столковались с комиссаром финансов насчет уплаты налога и для размышления посажены под стражу. Еще беспокоили Чеку настроения рабочих, которые в Витебске в массе находились под влиянием меньшевистско-эсеровского блока. Совершенно непонятным образом здесь сохранился маленький островок демократической общественности, Комитет по борьбе с безработицей, избираемый профессиональными союзами и возглавляемый меньшевиками и эсерами. Он впоследствии вырос в большую организацию, охватившую крупные предприятия и тысячи рабочих и ставшую активным соперником Губсовнархозу. Вот этот Комитет, бывший подспорьем меньшевиков и эсеров, и поддерживал антибольшевистские настроения в рабочей среде. К тому же он предоставлял помещение под Биржу труда, под Совет профсоюзов, под Клуб имени Карла Маркса. Я уже несколько дней в Витебске. Прочел публичную лекцию о том, как живут в местах немецкой оккупации, и удостоился лестного отзыва в официозной печати: «...хоть и социал-предатель, но объективно рассказал». А я старался посильно показать, что немцы-завоеватели ничуть не лучше большевиков: так же мобилизуют на принудительные работы и ловят народ на улицах, так же разгоняют городские думы и земства, так же закрывают органы печати, так же произвольно арестовывают и вообще всячески плюют на демократию и другие буржуазные предрассудки. Моя задача, связанная с конференцией уполномоченных от фабрик и заводов, обреталась в самых благоприятных условиях. Товарищи сочувствовали идее созыва губернской конференции, и кое-что делали в этом направлении. Когда вечером, помню, в полумраке (не горело электричество), я делал доклад от имени Организованного комитета, мои предложения и наказ встретили очень сочувственно. Да, пора рабочему классу сказать свое собственное слово и активно вмешаться! Так говорили не только партийные, но и рядовые рабочие. Интересней всего позиция большевиков, присутствовавших на заседании Совета профсоюзов, одни из них молчали, другие говорили «против», и все голосовали против наказа. Но выступить прямо против созыва конференции, сказать, что рабочий класс не смеет собираться для того, чтобы формулировать свою программу, на это большевики не решились. Нам стало ясно, что среди местных властителей царит растерянность и, что, если не сейчас, то скоро они спохватятся и оборвут это сантиментальное миндальничание. Но пока все благоприятствовало легальному созыву губернской конференции уполномоченных. Совет профессиональных союзов разослал по губернии телеграммы с предложением прислать делегатов на конференцию уполномоченных, и никто из начальства не ста-

вил препятствий рассылке этих телеграмм. Официальный орган большевиков несколько дней подряд печатал объявление о предстоящей конференции уполномоченных. Лучшее помещение в городе, Городской театр, Жилищный отдел Исполкома отвел под занятия конференции. Наступил день, когда она должна открыться. С утра в Совет профессиональных союзов стали съезжаться делегаты из провинции и местные уполномоченные, число их уже перевалило за триста. Но в это время большевики опомнились, и Чека принялась за работу. К пяти часам вечера театр заняли отряды войск, а приходившим уполномоченным было заявлено: «конференция запрещена», составлен проскрипционный список лиц, подлежащих аресту. Несколько комический оттенок имела история моего ареста. По пути в Городской театр я зашел к своему дяде и однофамильцу выпить чаю и повидаться с ним, так как его только что выпустили из тюрьмы по делу о революционном налоге. Но не успел я пробыть там и 15 минут, как явился чиновник из милиции и спросил:

– Здесь живет гражданин А.?

– Здесь.

– Комиссар милиции приказал явиться немедленно.

Мой дядя, окруженный взволнованной семьей, решил пойти и предусмотрительно стал переодеваться в старое платье и поношенную обувь. Я подумал про себя, не находится ли это в связи с нашей конференцией и не имеет ли в виду начальство меня, грешного? Вместе с тетужкой, взявшей под руку мужа, я тоже направился в милицию, под эскортом милицейского. По дороге, проходя мимо клуба Бунда, я встретил экспансивную товарку, которая мне рассказала, что конференция не допущена и театр окружен войсками и закончила:

– А мы за вас беспокоились, думали, что вы арестованы.

– Нет, пока я еще не арестован, – отвечал я с уверенностью.

И мы шли дальше. Уже в зоне театра, который лежал на пути в участок, я встретил двух товарищей, которые тоже обрадовались мне; на всякий случай я опорожнил свои карманы, вручил все резолюции, наказания и т. и. одному из них и погнал его прочь; другой товарищ решил пойти вместе со мной. Он чувствовал себя в городе Витебске *persona grata*. Он пользовался влиянием даже среди большевиков, и в Совете рабочих депутатов его язвительные речи находили поклонников и среди властей. Он все разъяснит. Так мы и явились в милицию: я, мой дядя и товарищ Б. Х. Комиссар милиции нас тотчас же принял. Оглядев нас, он спросил:

– Кто из вас – гражданин А.?

– Я, – ответили дядя и я.

Комиссар развел руками и сообщил, что председатель Чека поручил ему арестовать гражданина А., но имя и отчество ему неизвестно.

– Придется позвонить председателю. И он по телефону рапортует: – Явились два А. Кого из них арестовать? Но он не может дать о нас никаких сведений и обращается к нам с вопросом:

– Кто вы такой?

– Купец, – отвечает дядя.

– Меншевик, – отвечаю я.

– Ну, купец может идти, нам нужен меншевик.

Удрученное лицо тетужки с тоской остановилось на мне, но я посоветовал им скорей возвращаться домой и в этом значном месте лишней минуты не оставаться. Тут наступила очередь моего товарища, Б. Х. Он – человек очень остроумный, но в данном случае, он не был на должной высоте.

– Позвольте мне позвонить по телефону председателю Совета рабочих депутатов – обратился он к комиссару. – Я сейчас же разъясню это недоразумение.

– Нет, частным лицам по служебному телефону звонить воспрещается, – отрезал комиссар.

– Но я не частное лицо, – вскипел Б. Х., – как член Совета рабочих депутатов, я требую разрешения позвонить к председателю, и выбросил из кармана свой депутатский билет. С трудом разобрал имя, отчество и фамилию члена Совета, комиссар обрадовался и торжественно сказал Б. Х.:

– Вас-то нам и надо...

Спустя несколько минут в сопровождении солдата мы были отправлены в Чеку. Не могу не вспомнить, какие это были наивные времена! Нас двоих сопровождал один солдат. Когда мы увидели трамвай, солдат крикнул нам, чтобы мы туда вскочили, а сам побежал вперед на большое расстояние от нас. А нам и в голову не пришло убежать и скрыться. Я помню еще один эпизод во время этой трамвайной езды. Б. Х. увидел шедшего по улице председателя местного Совдепа и крикнул ему:

– Мы оба арестованы, добейтесь нашего освобождения. Председатель Совдепа крикнул в ответ:

– Я иду в Чеку вас выручать. Не думали мы тогда, что не дни, не недели, а долгие месяцы нам придется провести под гостеприимным кровом большевистской тюрьмы.

Губчека

Под Чеку отвели лучшую гостиницу в городе, но для вящей безопасности Чека прихватила еще несколько домов по обе стороны гостиницы. Большой район охранялся, как вооруженный лагерь, оцепленный солдатами, и прохожий пугливо переходил на другую сторону улицы подальше от греха. По лестнице, на самый верх, нас повели после совершения обряда передачи в Чека. Потом мы долго крутились по каким-то узким и длинным коридорам и на самой вышке здания, между выходами на чердак и уборными с другой, мы нашли приют в маленькой, тесной комнатке. Такие комнатки в гостиницах служат обычно для бодрствующей по ночам прислуги, всегда готовой явиться на требовательный звонок беспокойного гостя. И, действительно, никаких признаков постели, дивана или койки, не было в камере Чека. Да, пожалуй, это к лучшему. Кругом так много вшей, что казалось совершенным безумием лечь спать в этой комнате. Меблировка состояла из стула с продавленным сидением, мягкого кресла, грязного и вшивого, некрашеного стола и широкого подоконника, на котором можно было сидеть и, пожалуй, лежать. Дверь камеры не закрывалась. Напротив нее в коридоре, на большом кованом сундуке, лежал грязный, сплюснутый матрац (вероятно, первоисточник многочисленных вшей), на котором возлежали наши стражи – два солдата с винтовками. Вышнего начальства кругом не было видно; только на мгновение явился какой-то юный чекист и чрезвычайно грубо потребовал наши документы. Когда стемнело, и мы перестали надеяться на освобождение или на отправку в тюрьму, перспектива остаться здесь на ночь заставила нас послать солдата за начальством. Явился разводящий и сказал, что вся Чека разошлась, что коменданта нет, «а если бы он и был», добавил он: «...так что же за разговор с этим головорезом? Он только расстреливать умеет».

Окна нельзя раскрывать. Было мучительно душно в эту бессонную ночь. Я переходил с места на место, со стула на подоконник и на стол; больше всего меня соблазняло мягкое кресло, и я с трудом преодолевал этот соблазн. Б. Х. уже не владел собой: желание спать даже парализовало его насмешливый ум, и в тот момент, когда я прикорнул на подоконнике, он лег на матрац рядышком с солдатом и уснул сладчайшим богатырским сном. В тусклом свете керосиновой лампочки я вел беседы с нашей стражей. Старший, высокий, коренастый малый – латыш, плохо говорящий по-русски, особенно возмущался тем, что на днях с него взяли полтора рубля, что он не хотел давать денег, но часть его заставила. В доказательство он вынул из кармана красную бумажную квитанцию, которая сказала ничем иным, как членским билетом РКП, бедняга, он даже не знал что его облагодетельствовали, приняв в большевистскую церковь и с горечью говорил о том, что рад бы оставить Россию, если бы немцы не сидели так прочно на его родине.

Когда латыша сменил его товарищ, ко мне подошел другой солдат – худой, зеленый подросток-еврей. Разглядев его, я невольно опросил:

– Каким образом в красную гвардию нанялся еврей? Разве он не мог заниматься своим ремеслом или торговать или, может быть, он большевик?

– Нет, какое там!

И он рассказал мне горькую повесть о бедной рабочей семье, в которой старик извозчик лишился лошадей, два старших сына убиты на войне, а он, чтобы прокормить своих стариков, должен был пойти на службу к этой банде: за тысячу рублей в месяц и два фунта хлеба в день.

На следующий день в Чека привели к нам третьего товарища – А. Т., тоже видная персона в Витебске. В революционном прошлом – председатель Совета солдатских депутатов, и сейчас – председатель того Комитета по борьбе с безработицей, о котором я выше сообщал. А. Т., как всегда, спокойный и ровный, с усмешкой рассказывал, как его заманили в ловушку. Ему позвонили, что Исполком приглашает его на заседание по поводу нашего ареста. Он пошел

туда и по дороге был перехвачен Чекой. Мы очень обрадовались ему, с его появлением у нас возникли связи с внешним миром. На далеком пустыре, видимом из окна замаячила знакомая женская шапочка, и мы издали дружески раскланивались.

Тетушка принесла мне обед и подушку. Я первое принял, а подушку отклонил, опасаясь загрязнения. Но чем больше мы сидели, тем немислимей казалось нам освобождение, тем острее нам хотелось одного: в тюрьму. И мы дождались своего. Вечером, в сумерки мы двое (А. Т. был оставлен в Чеке) шли по улице под конвоем с пашками наголо, вызывая смятение прохожих и удивленные взоры. Подбадривая Б. Х., я требовал, чтобы он шел бодрым, размеренным шагом, в такт солдатским сапогам. Стояла темная ночь, когда мы подошли к тюрьме, находившейся на окраине города. После года революции чем-то призрачным повеяло на меня от этого большого, казенного здания в белую краску, за высокой оградой сейчас уже спящего своим тяжелым тюремным сном. В полуосвещенной камере, где конвоиры сдавали бумагу из Чека и нас в приложении к ней, нас встретили формально. Но как только конвоиры ушли, явное удивление отразилось на лице тюремщика.

– Я был при вас членом Совета рабочих депутатов, – сказал он мне с улыбкой.

– Ну, вас-то скоро выпустят, это недоразумение, разве будут они вас держать в тюрьме?

И, вздыхая и охая о тяжелых и причудливых временах, он передал нас дежурному надзирателю. Сознаюсь, я успел на обороте бумаги, присланной из Чека, заметить формулировку нашего обвинения. Тогда, на заре красного террора, оно звучало чудовищно и бессмысленно: «контрреволюционный заговор».

Нас подвергли тщательному обыску, забрали деньги, ножницы, часы и повели дальше. Проходя по двору, оглядывая унылый и грязный вид тюремных помещений, я внезапно вспомнил упреки одного бундовца-каторжанина, который провел в этой тюрьме десять дней после январской демонстрации по поводу разгона Учредительного собрания и который писал нам на волю с укоризной, что в 17-м году мы совсем позабыли о тюрьме, не предвидели, что нам придется опять в ней сидеть, что тюрьма без присмотра и без ремонта приходит в ветхость и не может служить приличным кровом для политических узников. Передаваемые с рук на руки, мы, наконец, подошли к карантину, где, по тюремным условиям, нам надлежало провести десять дней. Открыли тяжеловесный замок, отодвинули железный засов. Мы вошли и очутились в глубоком мраке, услышав за спиной движение засова и ключа. В этом мраке мы почувствовали такую острую, удушливую вонь, от которой непривычного человека привело бы в ужас. Но мы поняли, что это парашка и, обходя зловонное место, пошли ощупью дальше. По-видимому, я что-то громко сказал или просто выругался, и мой голос был узнан, с широких общих нар молодой голос назвал меня. Кое-как удалось зажечь керосиновую лампочку и обозреть позиции.

На нарах, вместительностью в 8—10 человек, лежало 21, а некоторые запоздавшие лежали под нарами; это публика, привычная к тюрьме: воры и другие уголовные. В карантине было принято обкрадывать друг друга— обычай, который строго преследовался товарищеским уставом тюрьмы вне карантина. На ночь обувь и верхнюю одежду полагалось связывать в узел и класть под голову. Мой знакомый оказался 18-летним эсером, арестованным несколько дней тому назад, кажется, за вмешательство в какой-то уличный скандал, вызванный Чекой. Мы все были рады друг другу, легли рядышком, тесно прижавшись и наскоро делись сообщениями. Было душно; парашка издавала нестерпимое зловоние, людские испарения и пот били в нос и в рот. Но измученный пережитым, я быстро и безмятежно заснул на тоненькой жердочке, на самом краю нар, лежа самым странным образом и почему-то не падая.

В тюрьме

Прошел день-другой. Прибыл из Чеки А. Т, и мы в досрочном порядке переведены из карантина в общую камеру, отведенную специально для нас, но из-за переполнения тюрьмы в нашу камеру подкинули под видом «политических» еще несколько человек. Сутра шла мойка и чистка пола, стен и особенно нар, которые мы мыли с помощью мыла и горячей воды. Особенно усердствовали, даже выталкивая нас из работы, наши новые сожители, матрос и левый эсер. Матрос, бывший участник Кронштадтского движения в 1917 году, арестован у себя в деревне за самовольную отлучку, и, кстати, как «вредный элемент» в деревне (кулак). Левый эсер – еврей, портняжка, который чинил платье всему начальству, а впоследствии заштопывал и наши дыры и, собственно говоря, имел приговор по суду на один год за воровство. Он тщательно скрывал это компрометирующее обстоятельство и в этом ему все помогали, выдавая его за политического, за левого эсера, которые были еще в моде в эти июльские дни. Впервые, после нескольких томительных дней и ночей, в грязи и нечистотах, хорошо вечером лежать на мешке, набитом свежей соломой, отдаваясь элементарному чувству радости жизни, следить, как падают последние закатные лучи на тюремную ограду, на тюремный двор под нашими решетчатыми окнами. Человек десять, которые собрались в нашей камере, сжились довольно дружно и, как водится в тюрьме, спелись в буквальном смысле слова довольно быстро между собой. По целым вечерам, после поверки, хор нашей камеры оглашал тюремный дворик. Матрос пел крестьянские и морские песни, Б. Х. оказался специалистом на еврейские мотивы, а молодой человек, приказчик из музыкантской команды, исполнял, если без искусства, то с большим энтузиазмом антибольшевистские шансонетки и частушки. При этом он пользовался руками, ногами, губами и щеками в качестве различных инструментов. Только один старенький, старенький помещик (по имени которого назывался целый поселок близ Витебска) с недоумением оглядывал наше жизнерадостное общество. Его арестовали в качестве буржуя, врага советской власти, хотя он еле мог передвигать ноги, а беззубым ртом шамкал неведомо что. Это было эпизодическое лицо в нашей камере. Он ждал выписки кого-нибудь из больницы для того, чтобы занять вакантное место.

Из прочих персонажей я помню плотного, низкорослого частного поверенного из соседнего уездного города, которого большевики обвиняли в том, что он выдавал немцам советских работников, между тем, как еще недавно, в родном городе, его обвиняли в том, что он укрывал большевиков, да еще юного офицера, сидевшего за «липовые» документы. Но в центре нашего общежития была наша маленькая сплоченная социалистическая колония, к которой к концу месяца прибавился еще один член товарищ К., неутомимый митингер, посаженный к нам за выступления по поводу нашего ареста. День начинался рано. В шесть часов поверка, но мы не возражали. Каким удовольствием было подняться, помыться холодной водой и, воспользовавшись мешкотностью старого, ворчливого надзирателя, пробежаться несколько раз, против правил, по тюремному кругу. Уборные загрязнены, но тщательно поливались известкой и карболкой, и после их посещения долго нельзя отделаться от тягучих несносных запахов. Двор довольно обширный, хотя нам за пределы небольшого круга воспрещалось ходить, и мы, регулярно расширяя свои знакомства с кухонными и больничными арестантами, солдатским шагом, бегом, совершали ежедневные прогулки. Обычно в это время мы напевали антибольшевистский марш, и моим спутником часто бывал живший в больнице политический, 67-летний врач-генерал. День быстро проходил, разнообразясь гимнастикой, чтением и занятиями, к которым кое-кто из нас уже приступил. Но гвоздем дня бывали передачи: обеды, цветы, книги и газеты. Наши близкие и друзья самым широким образом заботились о нас. Социалистические партии, клубы, профессиональные союзы выпустили подписные листы, на фабриках и заводах и в учреждениях призыв на помощь политическим вызывал большое сочувствие. Официаль-

ные свидания – раз в неделю, а неофициальные – бесконечное количество раз, увенчивали наше мирное житие в коммунистической тюрьме.

А кругом шла обычная, тяжкая тюремная жизнь: «цвет русского народа», молодежь в избытке сил и страстей, как всегда составляла основное ядро населения тюрьмы. Мы слабо соприкасались с тюрьмой, нас старательно изолировали от нее, за исключением соседней камеры, где ютилась группа офицеров, и за вычетом нескольких политических (бывших членов Союза русского народа). Наше общение ограничивалось исключительно случайными встречами. Иногда нас приглашали в контору писать прошения отдельным заключенным, в судьбе которых начальство, по-видимому, принимало участие. Арестанты большей частью – воры, фальшивомонетчики, самогонщики, немного горожан и большинство крестьян, неграмотных и не сознающих смысла совершенного. Попадались убийцы и участники рискованных, отчаянно-смелых ограблений, никогда не сознающиеся в преступлениях вопреки всем уликам, держащие стойкие, упрямые характеры.

В тюрьме уже проходили расстрелы. Ночью увезли двух братьев, сидевших в одной камере, и их мать 70-летнюю старушку, совершивших вместе убийство и ограбление семьи. Смертники сидели обычно в строгих одиночках, но были и такие кандидаты на тот свет, которых почему-то пускали на кухню, на разные тяжелые работы, и они со шляпой набекрень, с беспечностью уличных ловеласов, бродили по тюрьме, балагурили и пользовались большим авторитетом.

Это, конечно, трещины в тюремном режиме, и в годы, когда колебалась вся русская земля, неудивительно, если подвергался колебанию и тюремный режим, и началось это не при большевиках, а задолго до них. В том же Витебске, я помню, в начале марта 1917 года произошел такой трагикомический инцидент. Когда освободили политических из тюрем, завоновались и уголовные, угрожали устроить бунт, если их не будут освобождать. Тогда местный Комитет общественного спасения (в каждом городе есть такой Комитет) и Совет рабочих депутатов послали своих делегатов в тюрьму, чтобы успокоить уголовных. Делегаты прибыли, обошли камеры, произносили речи, все как полагается. Но в одной камере, где говорил представитель Совета рабочих депутатов и говорил, по-видимому, очень горячо, объявляя «начало новой жизни» и возвещая «зарю освобождения», он наткнулся на «Иванов», которые не поддались на удочку, заперли дверь и заявили ему: «Либо освобождай всех, либо, хочешь – не хочешь, оставайся вместе с нами». Бедняга пошел на попятную, обещал все, что угодно, клялся всеми святыми и с трудом сам «освободился» из тюрьмы. В результате, конечно, усилилось разложение тюрьмы, 47 уголовных бежало, настоящие, матерые преступники скрылись навсегда, а шпана, состоящая из случайных людей, после нескольких дней голода и неприютности, сама попросилась... обратно в тюрьму.

С 1917 года и до сих пор тюремный режим не мог войти в колею. Большевики не переменили начальства. Наверху и внизу оно осталось прежним, каким было при Временном правительстве и при царе. И, если революция 1917 года сбила с толку этих темных, неразвитых людей, то большевистский режим своей жестокостью и неразборчивостью в средствах только усилил это смятение в умах, все больше нивелируя тюремщиков и превращая их в бездушных исполнителей любых распоряжений. Иногда, казалось, что пред нами не люди, а тени бывших когда-то людей, такая печать безжизненности, придавленности, недоумения лежала на них. Я говорил уже о бывшем члене Совета рабочих депутатов (который, кстати сказать, был исключен из Совета, так как по конституции тюремная администрация в Совет не допускалась), сохранившем благодарную память о первых днях революции, впервые призвавшей его к политической жизни и полном пиетета к нам и готовности к услугам. Обильное продовольствие, доставлявшееся нам с воли, служило нам единственным способом привлечения симпатий, как среди бедствовавших много семейных надзирателей, так и вечно голодных арестантов. С одним старым тюремщиком, уже 35 лет служившим в этой должности и в этой же тюрьме,

у нас завязалась дружба. Он стал приводить с собой из дому младшего сына, ребенка пяти лет, которого мы угощали белым хлебом и конфетами. Сложнее складывались отношения с высшим начальством тюрьмы. Новые помощники, лишь отдаленно знавшие нас, держались в стороне и просто боялись скомпрометировать себя разговором с нами. Но и из них некоторые подходили к решетке нашего открытого окна, часов в 11 вечера, во время ночного обхода (наша камера помещалась в одноэтажном, низком каменном тюремном флигеле во дворе) и спрашивали:

– Что-то будет? Неужели они (т. е. большевики) будут дальше безнаказанно царствовать? – и рассказывали кое-какие скудные городские сплетни.

Начальник тюрьмы знал нас и встречал на разных заседаниях и совещаниях в революции 1917 года при губернском комиссаре Временного правительства. Предупредительно вежливый, он хотел быть формалистом в отношениях с нами, но это ему не удавалось. Вероятно, он так ненавидел большевиков, что готов оказать нам тысячу услуг. И, действительно, он своей властью и с некоторым риском заменил свидания через двойную частую проволочную сетку личными свиданиями. Причем, в комнату свиданий, обычно впускалось к нам, пятерым, бесконечное количество лиц. Часто тюремщики и не присутствовали при свидании, и только в воротах выпускали по счету, чтобы лишнего не выпустить. Помимо наших близких, к нам на свидание ходили члены комитетов Бунда и меньшевиков, представители рабочих организаций, для того, чтобы выразить нам сочувствие. Ясно, что благодаря этим свиданиям наше общение с внешним миром стало самым полным и частым. И был среди приходящих к нам на свидание один товарищ – бундовец, бывший каторжанин, который за десятидневное сиденье в тюрьме в январе 1918 года успел завоевать все начальство сверху до низу. Он получил свидание вне времени и срока и приводил с собой кого хотел. Мы понимали, что такое попустительство начальника тюрьмы происходит против желания Чеки. Мы считали себя морально обязанными быть щепетильно-добросовестными, по возможности, в своем поведении. Когда, после трехнедельного сидения в тюрьме, в виду нараставшего настроения в рабочей среде, мы вынуждены были выпустить из тюрьмы обращение к рабочим и текст его передали товарищам на свидании, мы сообщили об этом начальнику тюрьмы:

– Вы можете наложить на нас всякое взыскание, если только это смягчит те неприятности, которые выпадут от Чеки на вашу долю.

Наши спутники

Гуляли мы два раза в день. Рано утром, часов в восемь после чая, и вечером до поверки минут сорок. Нашими спутниками во время прогулок по кругу были обычно: 67-летний военный врач-генерал Ф.И. Григорович, местный судья Б.А. Бяланицкий-Бируля и бывший земский начальник Полонский. Помимо нас это единственная группа политических заключенных в тюрьме. Бывшие члены разных правых монархических партий, они в революцию 1917 года вступили уже с новой окраской в качестве деятелей «Союза белорусов», хотя Витебская губерния территориально и этнографически мало имела общего с Белоруссией. Когда однажды утром, выйдя из больницы, они увидели нас, деятелей Мартовской революции, за решеткой, судья воскликнул с усмешкой:

– Так и надо! Вас бы я давно запрятал в кутузку. Знайте, когда мы будем у власти, мы возьмем пример с большевиков и крепко засадим вас...

Отсюда и пошла наша дружба – товарищей по несчастью. Мы люди совсем разные и нас влекло друг к другу любопытство, взаимный интерес, желание узнать и понять другую и чуждую планету. Мы кружим краткие минуты прогулки по двору, беседуем, болтаем. Они с тревогой рассказывают о своем «деле», беспокоясь спрашивая нашего мнения. Из наших уст – людей, по их мнению, близких к большевикам, они хотят предвосхитить свой приговор. Судья сдержаннее и спокойнее других, военный врач, бодрясь, впадал в истерическую болтливость, земский начальник тревожен, худел и бледнел на наших глазах.

Я знал судью и до революции, несомненно, он колоритный человек «ладно скроен и крепко сшит», по местной, провинциальной оценке, даже недюжинный человек. В дореволюционной, цензовой Городской думе он выделялся не только деловитостью, но и самостоятельностью суждений. Как судью, его хвалили за справедливость и бессеребренность даже евреи, несмотря на его открытую принадлежность к антисемитам. Революция его обезвредила. Прошли те времена, когда он надеялся на поражение «революционной гидры».

Еще в 1916 году, попав на Всероссийский съезд Союза городов в Москву, он, единственный из всего числа делегатов, выступал и голосовал против единогласно принятых там резолюций о внутренней политике и национальном вопросе. Но в сущности он никогда не был вульгарным «жидоедом» и под реакционной маской сохранял человеческий облик. В 1917 году мы встретились с ним в Думе всеобщего избирательного права, где он прошел по списку упомянутого Союза белорусов на московском Государственном совещании (куда зачем-то допустили претендовавших на то «белорусов» из Витебска). В сущности, он уже потерял обличье «правого» и казался обычным буржуа, «кадетом» (как тогда говорили), эпатированным революцией и растерявшим свой багаж. Быть может, тут действовал естественный инстинкт приспособления, может шквал революционной стихии стал обрабатывать самые непримиримые индивидуальности. Он не возмущался, он не проклинал. Здесь в тюрьме он глубоко пессимистически настроен и говорил об отпадении окраин, о неизбежном распаде России и неминуемом конце земли русской. В форменном сюртучке, с седеющей растительностью на круглом и умном черепе, с желтизной на лице, он запечатлен в моей памяти во время прогулок на тюремном дворе, – волоча больные ноги в туфлях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.